

К ИЗУЧЕНИЮ ОБЫДЕННОГО СОЗНАНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Исследование разных сфер общественного сознания отличается заметными особенностями. Наибольший опыт накоплен в науке по отношению к анализу таких явлений сознания, которые получили осмысление у самих современников. Воплощаясь в продуманных системах взглядов и теоретических концепциях, подобные явления давно изучаются историками на основе анализа дошедших до нас произведений ученой мысли прошлого. Гораздо менее изучено противостоящее теоретическому обыденное сознание. Вследствие самой своей обыденности оно привлекало к себе намного меньшее внимание современников. В отдаленные от нас исторические эпохи, и в частности в средние века, оно вообще не находило явного отражения в исторических памятниках. Исследователи, обращавшиеся в прошлом к его изучению, по необходимости были вынуждены ограничиваться воспроизведением случайных и изолированных его проявлений¹.

Ситуация изменилась, когда проблема обыденного сознания была сформулирована исторично, т.е. когда была осознана необходимость понять его как определенную исторически обусловленную целостность, обладавшую на каждом этапе прошлого своей спецификой и своей внутренней логикой. С этого момента — в применении к изучению западноевропейского средневековья он наступил в 30—40-х годах XX в. — вернулся поиск познавательных приемов, необходимых для решения вновь сформулированной проблемы. В своем большинстве эти приемы были заимствованы из смежных наук — лингвистики, этнографии, социологии. В результате в последующие десятилетия был как бы заново открыт огромный материк обыденного средневекового мироздания².

Но одновременно во весь рост встали новые вопросы, и в первую очередь о природе обыденного сознания, его границах и его внутренней структуре. Соглашаясь, что данная сфера отличается от теоретического сознания тем, что не связана с постижением смысла общественных явлений и ограничивается их эмпирическим восприятием, современные исследователи расходятся в понимании содержания обыденного сознания, особенностей его развития, его внутренней специфики и даже его терминологического обозначения.

Одни отождествляют обыденное сознание с обширной сферой социальной психологии, воплощающей в каждый данный момент совокупность общественно-психологических реакций на окружающий мир³. Другие отрицают возможность подобного отождествления и рассматривают социальную психологию и обыденное сознание в качестве двух самостоя-

¹ В нашей науке роль и место обыденного сознания в духовной жизни рассматриваются преимущественно в самом общем историко-философском плане. См. Кузьмина Т. А. Философия и обыденное сознание. — В кн.: Философия и ценностные формы сознания. Критический анализ буржуазных концепций. М., 1978, с. 150; Ойзерман Т. И. Диалектический материализм и история философии. М., 1979, с. 91 сл.; См. также: Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Формы общественного сознания. М., 1959, с. 23 сл.; Ракитов А. И. Философские проблемы науки. М., 1977, с. 90 сл.; Диалектика познания. Компоненты, аспекты, уровни/Под ред. Козлова М. С. Л., 1983, с. 70—100; Уледов А. К. Структура общественного сознания. М., 1968, с. 44 сл., с. 160 сл.

² Обзор и библиографию основных работ см.: Идеология феодального общества в Западной Европе: проблемы культуры и социально-культурных представлений средневековья в современной зарубежной историографии. М., 1980; Гуревич А. Я., Бессмертный Ю. Л. Идеология, культура и социально-культурные представления западноевропейского средневековья в современной западной медиевистике. — Там же, с. 5—54; Культура и общество в средние века: методология и методика зарубежных исследований. М., 1982; Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984; La nouvelle histoire/Sous la dir. de Le Goff J., Chantier R., Revel J. P., 1978; Nitschke A. Historische Verhaltensforschung. Analysen gesellschaftlicher Verhaltensweisen. Stuttgart, 1981.

³ Уледов А. К. Указ. раб., с. 163: библиографию этой точки зрения см. там же, с. 161 сл.; см. также Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971.

тельных сфер, которые лишь «перекрещиваются» между собой⁴: под обыденным сознанием (ментальностью) эти исследователи подразумевают отличающуюся большой устойчивостью и стереотипностью «манеру чувствовать и думать»⁵.

В корне различны оценки элемента бессознательного в обыденном сознании. Одни считают «коллективное бессознательное» неким стержнем, пронизывающим обыденное мировосприятие всех социальных групп⁶. Другие видят в нем лишь один из многих элементов, роль которого меняется в зависимости от социально-экономических, политических и идеологических обстоятельств⁷. Третьи оценивают влияние этого элемента еще более осторожно, предпочитая говорить лишь о неосознанности или неполной осознанности «языка», на котором «формулируется» картина мира данной социальной группы⁸.

Споры порождают и вопросы, касающиеся социального ареала, обыденного сознания. Эквивалентно ли оно по своим социальным рамкам сознанию общественных низов? Можно ли отождествлять его с низовым пластом сознания или, вообще, с массовым сознанием? В последнее время исследователи все чаще приходят к выводу, что те или иные элементы обыденного сознания присущи не только широким массам, стихийно воспринимающим мир как данность, но в какой-то мере и общественной верхушке, включая даже духовную элиту. И наоборот, черты теоретического сознания так или иначе проникают в массы, и потому их сознание никогда не остается «чисто» обыденным по своему содержанию⁹. В то же время почти ни у кого не вызывают сомнения существенные различия вариантов обыденного сознания, присущих массам и господствующим слоям¹⁰.

Что касается терминологии, то в последние десятилетия истории, изучающие обыденное сознание, стали широко пользоваться термином *ментальность*. Следует однако иметь в виду, что в этот термин вкладывается не всегда одинаковое содержание, поскольку его одновременно используют исследователи, различающиеся по трактовке сути и рамок обыденного сознания.

Вряд ли нужно специально доказывать актуальность всех затронутых вопросов для этнографической науки. Манера чувствовать и думать, доминирующая в ту или иную эпоху, самым непосредственным образом сказывается на историко-культурном пласте прошлого, специально интересующем этнографов (этническое сознание, этнические особенности культуры и т. д.). Содержание обыденного сознания, его специфика и его изменение заслуживают поэтому пристального внимания специалистов как по исторической этнографии, так и по этнографии современности.

* * *

Очевидно, что продвижение в решении перечисленных проблем невозможно без новых конкретно-исторических исследований. Предпринимая

⁴ Гуревич А. Я. Этнология и история в современной французской медиевистике.— Сов. этнография, 1984, № 5, с. 37—38.

⁵ Там же. Самое это обозначение ментальных феноменов употребила одной из первых французская исследовательница М. Т. Лорсен, вынесшая его в заголовок своей книги *«Façons de sentir et de penser: les fabliaux français»* (S. L., 1979). В философской литературе высказывалась, кроме того, точка зрения, согласно которой следует различать «обыденное сознание как по преимуществу рациональную, рассудочную сторону, а общественную психологию как чувственно-эмоциональную и волевою сторону реального сознания масс» (Шахзадеян М. А. Обыденное сознание. Ереван, 1984, с. 88). На наш взгляд, этот последний подход грешит явной механистичностью.

⁶ Эта точка зрения особенно характерна для французского социолога Ф. Ариеса и его школы — см. *La nouvelle histoire*, p. 422—423; *Ariès Ph. L'homme devant la mort*. P., 1977.

⁷ Vovelle M. Y a-t-il un inconscient collectif? *La Pensée*, 1979, № 205.

⁸ Гуревич А. Я. Категории ..., с. 8—10; *его же*. Этнология..., с. 38.

⁹ Уледов А. К. Указ. раб., с. 45; Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.: Искусство, 1981, с. 343; Ерасов Б. С. Массовое сознание, его основные характеристики.— В кн.: Идеологические процессы и массовое сознание в развивающихся странах Азии и Африки. М., 1984, с. 10 сл.; Куценков А. А. Массовое сознание в развивающемся мире (Круглый стол).— Народы Азии и Африки, 1982, № 2, с. 80; Полонская Л. Р. Там же, с. 68.

¹⁰ См. об этом: Гуревич А. Я. Этнология..., с. 44—45. Nitschke A. Op. cit., S. 10 ff.

одну из попыток обобщения вновь полученных результатов таких исследований по западно-европейскому средневековью, мы вынуждены параллельно рассматривать содержательные и методические аспекты. Объясняется это тем, что без отыскания новых приемов извлечения из источников косвенных данных — и, прежде всего, без использования методик смежных наук — воспроизведение черт обыденного сознания для отдаленных от нас исторических эпох вообще невозможно.

Это ясно видно, в частности, на примере раннего западно-европейского средневековья. В источниках этого периода нет никаких прямых данных, которые позволили бы охарактеризовать, скажем, социально-культурные представления крестьян, их отношение к социальным градациям, их взгляд на социальные различия между полями, их оценку авторитета матери и отца в семье и т. п. Некоторые возможности получить сведения по этим вопросам открываются при использовании косвенных данных, получаемых, в частности, с помощью антропонимического анализа.

Обычаи выбора имен у народов Западной Европы (как, впрочем, и у народов ряда других регионов) отличались в период господства раннеклассовых отношений большим своеобразием¹¹. Несмотря на приобщение к христианству, церковь мало влияла на этой стадии на наречение младенцев именем. Повторяющиеся имена встречались среди простолюдинов крайне редко. Их имена различались по содержанию (и числу) включавшихся в них лексем, по числу слогов в каждом имени, по этнолингвистическому происхождению входивших в имя лексем (встречались лексемы древнегерманские, древнеримские, древнегреческие, древнееврейские, смешанные и т. п.). В имена младших довольно часто включали лексемы из имен старших родственников. Подобные заимствования могли быть сделаны только из имени отца, только из имени матери, из этих обоих имен одновременно, только из имен более старших родственников и т. п.¹² Особенно благоприятные возможности антропонимического анализа открываются в тех случаях, когда в источниках фиксируется социальное положение носителей имен и известны имена их детей, родственников и соседей. Именно такие сведения удается почерпнуть, в частности, в ряде каролингских поместных описей («полиптиков») IX в. Опираясь на эти данные, можно выяснить, какие варианты формирования крестьянских имен встречались чаще других; каковы были наиболее «модные» лексемы; чем различались имена крестьян разного правового статуса и разного пола; именам каких родственников уподоблялись чаще всего детские имена и пр. Иначе говоря, структура имен и их содержательные особенности позволяют в подобных случаях представить, какие понятия приходили чаще всего на ум крестьянам, когда они выбирали имя ребенку; по отношению к какому из родителей (и других старших родственников) стремились они в первую очередь проявить уважение, заимствуя из его имени те или иные лексемы; насколько различны были имена, которыми нарекались крестьяне разных правовых разрядов и разных полов и т. п.

Не вдаваясь здесь в характеристику всех результатов соответствующих исследований, отметим вначале, что они показывают широкое распространение в IX в. в именах зависимых крестьян тех же самых лексем, которые использовались в это время в среде их господ, а в прошлом — в среде свободных германцев: «могущество», «благородство», «знаменитость», «сила» и т. п. Эти понятия были явным образом чужды в IX в.

¹¹ Иконов В. А. Имя и общество. М., 1974; Koch H. Möglichkeiten und Aspekte der Erforschung Westfränkischer Personennamen in der Karolingischen Nordgallia. Heidelberg, 1968; Wernèr K. F. Liens de parenté et noms de personne.— Famille et parenté dans l'Occident médiéval. Roma, 1977; Heinzelmann M. Les changements de la dénomination latine à la fin de l'Antiquité.— Idem.

¹² Например, в крестьянской семье, где отец — Hildefredus, а мать — Plectrudis, сына звали Hildemarus; в семье Winegarius'a и Adalgindis сын — Adalgarius; в семье Dulcedramnus'a и Ermengardis дочь звали Adalgardis; в семье Lantfredus'a и Adalgildis сын носил имя Adalfredus, а дочь — Lantberga и т. д. См. подробнее в нашей статье: «Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.» — В сб.: Средние века, вып. 43. М., 1980, с. 32—52; Блонин В. А. К изучению динамики численности населения на территории Франции IX в. — Там же, вып. 47. М., 1984.

жизненным реалиям рабов, сервов, литов и других слоев несвободного населения. Тем не менее именно они наряду с названиями древних тотемов (например, медведя, орла) и именами древнегерманских языческих богов доминировали при выборе детского имени¹³.

Было бы, разумеется, неверным видеть в содержании этих лексем осознанное крестьянами отражение признававшихся ими высших этических качеств. Становление именника IX в. — сложный и противоречивый процесс, исключающий возможность простого отождествления смысла тех или иных модных имен с нравственными представлениями их носителей. Известно, в частности, что распространение германских имен среди численно преобладавшего автохтонного населения западно-европейских стран (в частности, среди галло-римского и кельтского населения Северной Галлии, к которой непосредственно относятся приведенные данные) обуславливалось в первую очередь политическим господством германского этноса¹⁴. Широкое использование этих имен началось уже с VI—VII вв. Когда же в IX в. оно достигло своего максимума, социально-политическая и этно-культурная обстановка стали совсем иными, чем в момент германских завоеваний. К этому времени ассимиляция германцев среди романского или романизированного населения привела почти во всех районах к западу от Рейна к вытеснению германских языков. Этническая диффузия затронула как знать германского и романского происхождения, так и соответствующие прослойки крестьянства. В результате германское имя перестало быть этническим знаком. В IX в. его использование выражало лишь соблюдение определенной культурно-политической традиции. Именно сила этой традиции в IX в. и делает поучительным состав именника этого времени. Преобладание в нем перечисленных выше германских лексем свидетельствует, во-первых, о верности социокультурным обычаям прошлых столетий, а во-вторых, о слабости христианизации, не приведшей к вытеснению из него древнегерманских понятий эпохи варварства латино-греческими понятиями христианских добродетелей или соответствующими обозначениями христианского бога¹⁵. Непреложность этих фактов делает менее важным вопрос о том, насколько понимали имядатели IX в. конкретный смысл использовавшихся ими германских лексем¹⁶. Важнее то, что христианские понятия оказывались при наречении детей и вовсе за пределами их помыслов. Об определенной ориентировке крестьян в древнегерманских лексемах свидетельствует и тот факт, что componuя имена мальчиков и девочек, имядатели оказывались в состоянии различать лексемы с традиционными германскими достоинствами мужчины (силой, смелостью, знаменитостью, могуществом) и лексемы с соответствующими женскими добродетелями (например, способностью быть «защитой» — «оградой» или «борющейся защитницей»). Ориентация на эти достоинства простых крестьян отражала, вероятно, не столько их собственные (или тем более осознанные ими самими) устремления, сколько *неотрефлексированное следование* моде, навязываемой господами. Но эта возможность лишь увеличивает познавательную важность модных лексем, заставляя видеть в них объективную характеристику подспудно признававшихся крестьянами этических ценностей, каков бы ни был реальный генезис этого признания.

В том же направлении идут и наблюдения, касающиеся отражения в антропонимии существовавших в IX в. внутрикрестьянских социальных градаций. Обнаруживается, в частности, что, несмотря на единство прин-

¹³ См. подробнее: Бессмертный Ю. Л. Об изучении массовых социально-культурных представлений каролингского времени. — Культура и искусство западноевропейского средневековья. М., 1981, с. 53 сл.

¹⁴ Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957, с. 43.

¹⁵ Судя по материалам крупнейшего северо-французского полиптика аббата Ирминона, из примерно 3000 встречающихся в нем имен 2700 германских, 208 галло-римских, 38 новозаветных и 29 ветхозаветных (Polyptique de l'abbaye de Saint-Germain-de-Pres/publ. par Lognon A. P., 1886 — Introduction, p. 255).

¹⁶ Morlet M. T. Les noms de personne sur la territoire de l'ancienne Gaule du VIII^e au XII^e siècle. P., 1968, p. 7.

ципов формирования имен во всех общественных группах, каждая из них отличалась определенными особенностями имятворчества. Например, имена крестьян-сервов — наиболее приниженной правовой категории — были в массе короче, чем у крестьян более высокой категории — колонов; в них чаще встречались уничижительные формы. Более короткие имена и уничижительные формы встречались также чаще в женских, чем в мужских именах¹⁷. Видимо, в этом проявлялась подспудная оценка самими крестьянами различий в социальном статусе разных правовых или половых групп. Иными словами, различия имен, модных для разных крестьянских групп, отражали содержащиеся в обыденном сознании представления о социальных приоритетах.

В пользу этих предположений говорят и некоторые отличия в формировании имен знатных людей. В среде знати чаще, чем у простолюдинов, встречалось полное повторение у детей имен их отцов. В некоторых знатных родах подобные имена повторялись из поколения в поколение, что было, видимо, связано, не только с обособлением этих родовых групп, но и с наследственным закреплением за ними отдельных должностей, так же как со складыванием обычая иметь на подобных должностях лиц определенного имени (например, среди северо-французских епископов IX—X вв. особенно часто встречалось имя Adalberon)¹⁸. В знатных родах, так же, впрочем, как и в среде крестьянства, детские имена включали лексемы материнских имен реже, чем отцовских, несмотря на то что статус матери по происхождению и у знатных, и у крестьян чаще бывал выше отцовского. В среде знати эта тенденция сказывалась с особой силой¹⁹. Думается, что и этот антропонимический обычай выражал собой определенную особенность социально-культурных представлений того времени — о более высоком престиже в семье отца, чем матери, — представлений, оказывавшихся в данном случае общими и для социальной верхушки, и для широких масс.

Как видим, антропонимический анализ открывает известные возможности для изучения невыговоренных массовых представлений эпохи раннего западно-европейского средневековья. Полученные на его основе результаты позволяют затронуть и вопрос о *природе* рассмотренных явлений сознания, и прежде всего о том, были ли они лишь не выговоренными или же еще и неотрефлексированными²⁰.

Отметим прежде всего, что, как подчеркивалось выше, ни один из охарактеризованных антропонимических обычаев не соблюдался жестко и вообще не был какой-либо зафиксированной *нормой*. Поэтому он и обнаруживался лишь в виде тенденции, а не как повсеместно действовавшее правило. Следовать данным обычаям заставляли некие внутренние побуждения, которые, как и всякие внутренние побуждения могли быть сильнее или слабее, приводя или не приводя к определенным поступкам. Подобные побуждения возникали спонтанно; над ними не задумывались; их истоки и их целесообразность не обсуждались. Данные обычаи не были, следовательно, предметом рефлексии и действовали, так сказать, автоматически. Это были «автоматизмы» сознания и поведения. Они воплощали в себе некоторые элементы принятой в данном обществе манеры чувствовать и думать.

¹⁷ Бессмертный Ю. Л. К демографическому изучению французской деревни IX в. (Люди и имена). — Сов. этнография, 1981, № 2, с. 62 сл.

¹⁸ Werner K. F. Op. cit., p. 29—31. Речь идет в данном случае о персональном имени. Родовые фамилии появляются (даже в среде знати) лишь с XI в.

¹⁹ Werner K. F. Op. cit., p. 27—28. Бессмертный Ю. Л. К демографическому..., с. 61—62.

²⁰ В литературе иногда отождествляются «неотрефлексированность» и «невыговоренность» представлений людей прошлого о самих себе. Подобное отождествление неоправданно не только потому, что «невыговоренное» прямо может быть тем не менее осознанным и транслированным в косвенной форме. Это отождествление может кроме того породить смешение с одной стороны, важной познавательной процедуры (поиск наиболее достоверных сведений о прошлом, обнаруживающихся там, где люди прошлого как бы ненароком «проговариваются» про осознанные или неосознанные черты своих представлений) и, с другой стороны, уяснения онтологической характеристики тех социокультурных представлений, которые остаются в принципе неотрефлексированными (неосознанными) со стороны современников.

Внешне эти автоматизмы в чем-то сходны с безусловными рефлексами. Подчеркнем, однако, что это сходство лишь внешнее и частичное, ибо рассмотренные обычаи принятого восприятия и поведения не были постоянными и действовали только в течение определенного периода, хотя и весьма длительного. На каком-то этапе эти обычаи могли стать предметом рефлексии современников и подвергнуться изменению. Именно так и случилось с антропонимическими правилами при переходе от античности к средневековью, когда впервые получили идеологическое обоснование рассмотренные выше антропонимические тенденции²¹. Иными словами, данные антропонимические обычаи некогда были осознававшимися правилами, в дальнейшем же их нормативный характер был прочно забыт и они превратились в привычку, в обычай, в общепринятую модель поведения, действовавшую как бы автоматически. По-видимому, именно такие модели, реализовывавшиеся помимо и вне рефлексии современников, насыщали в эпоху средневековья сферу, именуемую обыденным сознанием.

Подобные модели поведения не были тогда отличительным признаком лишь необразованной массы. Как свидетельствует пример антропонимии, они были отчасти присущи и высшим классам. Таким образом, черты обыденного сознания обнаруживались в самых разных социальных группах. При этом, судя по той же антропонимии, общепринятые модели поведения раньше всего подвергались осознанию и перестройке в общественной практике верхов. Свидетельство того — деятельность элиты IX в., пытавшейся, как отмечалось выше, приспособить антропонимические обычаи для закрепления привилегированного положения отдельных знатных родов.

* * *

Несколько иные стороны перестройки обыденного сознания удастся рассмотреть на основе семантического анализа некоторых западно-европейских источников X—XII вв. От этого периода в Западной Европе сохранилось довольно много нарративных памятников, повествующих о подвигах и деяниях рыцарства. Сосредоточение внимания на деятельности этой относительно привилегированной общественной прослойки само по себе не может помешать использованию данных памятников для выяснения структуры и природы обыденного сознания. Как уже отмечалось, черты обыденного сознания могут быть прослежены у представителей самых разных общественных групп. Не следует, кроме того, забывать, что рыцарская масса в X—XII вв. составляла самый нижний слой общественной верхушки и, во всяком случае, была очень далека от духовной элиты; теоретическое сознание в общем было для этой массы недоступно. Между тем именно рыцарство составляло главное действующее лицо (или одно из главных действующих лиц) в многочисленных хрониках, «деяниях», житиях, «примерах» и героических песнях «Шансон де жест» (*Chanson de geste*), посвященных крестовым походам и другим военным деяниям.

Самые эти походы и деяния изображались в названных произведениях в сугубо идеализированном виде, во многом искажающем фактическую сторону дела. Однако нас сейчас интересует не фабула этих сочинений, а используемые в них языковые клише. Большинство хронистов, анналистов или тем более жонглеров-рассказчиков «деяний» и «шансон де жест» употребляли клишированные формулы и обороты, «принятые» в их время. Без таких формул они не могли обойтись ни при описании воспеваемых подвигов, ни при обозначении социальных градаций (рыцарь, знатный, оруженосец и т. п.), ни при характеристике ключевых понятий (честь, слава, власть, свобода, богатство и т. п.). Сами эти формулы никем, конечно, не декретировались. Они были «на слуху», в памяти; их длительное использование превращало их, начиная с какого-то момента, в привычные штампы, употреблявшиеся как бы автоматически. Это и придает им познавательную ценность. По их содержанию

²¹ Heinzelmann M. *Op. cit.*, p. 21.

можно реконструировать расхожие социокультурные представления, свойственные данной социальной группе. Изменение же соответствующих клишированных формул — если оно носило массовый характер — не могло не свидетельствовать о переменах и в обыденном мировосприятии в этой среде.

Чтобы представить себе, какие возможности открывает использование этой методики и какие черты обыденного сознания позволяет она высветить, приведем некоторые конкретные данные. Дошедшие до нас ученые сочинения, трактующие статус и отличия рыцарства, относятся не ранее чем к XI в. Они принадлежат богословам, епископам и другим церковным писателям. Но прямых сведений о самосознании рыцарства мы здесь не найдем. К раскрытию этого самосознания можно, однако, приблизиться, изучая упоминавшиеся выше лексические клише. Такой анализ предполагает выявление особенностей языковых формул, посвященных рыцарству, которые были свойственны отдельным временным отрезкам в течение рассматриваемого периода.

Например, в 32 наиболее известных для XI и начала XII в. латинских нарративных памятниках термин «рыцарь» (*miles*) встречается в общей сложности 1492 раза. Изучение контекста его употребления обнаруживает у него несколько разных смыслов: воин, рядовой борец за христианскую веру, военный слуга, министерял, собственно рыцарь. В этом последнем случае современники подразумевали высокопоставленного воина, обладавшего особым защитным и наступательным оружием и свободного от забот о хлебе насущном. Особенно заметно подобным смыслом термин «рыцарь» наполняется в латинских текстах к началу XII в., когда частота такого его употребления удваивается по сравнению с первой половиной предшествующего столетия и достигает 80% всех случаев его использования²².

Любопытно, что данное словоупотребление термина «рыцарь» почти одновременно — с начала XII в. — заполняет тексты «шансон де жест», записанных на старофранцузском языке; даже частота такого его употребления оказывается в это время сходной и в латинских, и в старофранцузских текстах (около 80% случаев)²³. Одновременность изменения в словоупотреблении термина «рыцарь» в лексике жонглеров, особо чутко отражавших представления рыцарской массы, и в лексике латинских авторов подтверждает достоверность эволюции в обиходном использовании данного термина-понятия. Сложившееся к началу XII в. представление о рыцарстве сохранялось почти в неизменном виде около столетия и стало изменяться лишь в следующем XIII в.

Еще более существенны для наших целей данные о соотношении понятия рыцарства с ключевыми ценностными категориями эпохи. Выявить такое соотношение удастся на основе изучения клишированных описаний рыцарства и контекста, в котором эти описания встречались. Анализ показывает, что, хотя рыцарь в собственном смысле слова — это чаще всего состоятельный человек, обладание богатством — будь то движимым, будь то недвижимым — не было для него обязательным ни в XI в., ни в начале XII в. Рыцарем мог быть тогда назван и человек, не имевший какой бы то ни было собственности²⁴ (такой рыцарь жил обычно в доме своего сеньора на правах так называемого рыцаря-домочадца). Столь же непостоянным атрибутом рыцаря выступало его происхождение от знатных предков.

Гораздо более обязательной была служебная связь рыцаря с сеньором, обуславливавшая его причастность к власти имущим и его противостояние простолюдинам. Еще более необходимым являлось воинское мастерство рыцаря и наличие у него таких достоинств, как мужество,

²² Van Luyn P. Les «milites» dans la France du XI siècle. Examen des sources narratives. — *Moyen Age*, 1971, № 1—2, p. 17—18.

²³ Flory J. La notion de chevalerie dans les Chansons de Geste du XII s. Étude historique de vocabulaire. — *Moyen Age*, 1975, № 2—3, p. 227—230.

²⁴ Van Luyn P. Op. cit., p. 193—199; Flory J. Op. cit., p. 232—240; *idem*. Semantique et société médiévale. Le verbe adouber et son evolution au XII^e siècle. — *Annales E. S. C.*, 1976, № 5, p. 920—921; *idem*. L'essor de la chevalerie. Geneve, 1986.

смелость, соблюдение рыцарской чести. Заслуживает быть специально отмеченным тот факт, что на рубеже XI—XII вв. рыцарская честь в ее обиходном понимании не подразумевала ни благочестия, ни христианского смирения, ни заботы о «сырых и убогих», ни куртуазии и культа дамы. Контаминация с этими понятиями складывается лишь в течение XII в. и сохраняется около столетия²⁵.

Как видим, анализ социальной лексики и словесных клише нарративных памятников XI—XII вв. приоткрывает завесу над представлениями о рыцарстве, существовавшими в его собственной среде или в среде знати. Эти представления не могли не находиться в определенном соответствии и с поведенческими моделями самого рыцарства, остававшимися пока что не выговоренными или даже не отрефлексированными. В самом деле, складывавшееся в это время истолкование рыцарской чести еще не было оформлено правом. Оно существовало лишь на уровне обиходного представления. Тем не менее оно до известной степени регламентировало образ действия рыцаря. Ведь рыцарь не мог не соотносить свои поступки с утверждавшимся у современников собственным «имиджем». В противном случае он оказывался в противоречии с конституировавшейся групповой моралью, и ему грозило осуждение со стороны окружающих. Все это развивалось очень медленно и постепенно. Ни законы поведения, ни санкции за их нарушения не возникли сразу. Правила рыцарского поведения поначалу могли выступать лишь как психологическая установка, не имевшая четкой формулировки и даже не отрефлексированная. Она находила пока что выражение только в тех самых клишированных формулах, о которых шла речь выше.

Стереотипные формулы составляли, как известно, одну из отличительных особенностей всякого средневекового текста. Однако их характер и длительность бытования были различными. Одни клишированные выражения за долгий срок своего существования постепенно становились органичными элементами обиходного языка, сливались с ними и, сохраняясь формально, фактически утрачивали первоначальный специфический смысл; с определенного момента в них напрасно было бы искать и отражение реальных поведенческих моделей. Другие стереотипные формулы, наоборот, бытовали не так долго — не столетия, но десятилетия; они как бы «не успевали» раствориться в обиходной лексике. Именно такие словесные клише наиболее важны при изучении обыденного сознания по упоминавшимся выше памятникам. Зная время их возникновения и исчезновения, можно определить период, в течение которого их массовое применение отражало определенное своеобразие «манеры чувствовать и думать». В рассмотренных выше текстах складывание на рубеже XI—XII вв. понятия рыцарства, как и изменение смысла этого понятия примерно через 100 лет, сигнализировали каждое о перестройке социокультурных представлений. Этап же бытования сложившихся на рубеже XI—XII вв. словесных клише, длившийся около столетия, соответствовал, по-видимому, периоду более или менее стабильного мировидения в этой сфере. Таким образом, выступая в качестве «общего места» и привычного штампа, формульные описания рыцарства в это время более или менее соответствовали представлениям рыцарства о самом себе и отражали неотрефлексированные стереотипы его поведения²⁶.

²⁵ Van Luyn P. Op. cit., p. 204—214, 219—222; Flori J. La notion..., p. 216—217, 227—230, 421—427; см. также: Бессмертный Ю. Л., Гуревич А. Я. Идеология, культура и социально-культурные представления..., с. 24—25, 39—41.

²⁶ По отношению к этим формулам менее остро стоит и весьма сложный вопрос о соотношении в литературных произведениях элементов отражения действительности и элементов волевого ее преобразования — в соответствии с этико-политической программой их авторов. См.: Bumke J. Studien zum Ritterbegriff im 12 und 13. Jh. Heidelberg, 1964; Shroder W. Zum Ritter-Bild. — Germanistische-Romanische Monatsschrift, 1972; Köhler E. L'aventure chevaleresque. P., 1974; Reuter H. G. Die Lehre vom Ritterstand. Köln — Wien, 1975; Zumthor P. La masque et la lumière. La poétique de grands rhéoriciens. P., 1978; Учитывая близость (или совпадение) исследовавшихся нами словесных клише в произведениях разного жанра, принадлежащих разным авторам, можно надеяться, что данные формулы отражали историческую реальность достаточно объективно.

Мы рассмотрели лишь два вида приемов, помогающих воспроизведению средневекового обыденного сознания. Нет сомнения, что подобные приемы могут быть очень многообразными. Их дальнейшая методическая разработка — обязательное условие расширения наших знаний в этой сфере и в то же время средство верификации этих последних. Сознательная необходимость дальнейшей проверки имеющихся суждений, отметим тем не менее, что присутствие в обыденном сознании средневекового пласта стереотипов — «автоматизмов» вполне естественно. Особой насыщенности ими обыденного сознания средневековья, как и других капиталистических обществ способствовали крайняя замедленность социокультурного развития, долгое сохранение традиционных форм. Мотивация этих форм, сложившихся в более или менее отдаленном прошлом, в дальнейшем предавалась забвению, необходимость в их оправдании постепенно отпадала, сами же они в той или иной степени фетишизировались, приобретая порой даже магический оттенок. Надо ли удивляться, что сложившиеся стереотипы восприятия и поведения не требовали осмысления и не подвергались осознанию, по крайней мере со стороны основной массы современников?

Однако пласт неосознанных, неотрефлексированных установок и стереотипов, неизменно присутствовавший на данном этапе в сфере обыденного сознания, не заполнял его целиком²⁷. Кроме архаических стереотипов эта сфера сознания включала значительно более динамичные представления о социальном благе, об этических и эстетических принципах и т. п. Эти представления нередко расходились с нормами, признанными в данный момент в господствующей идеологии; они воплощались в таких случаях некие неконформистские модели, существовавшие не в виде теории или набора регламентированных правил поведения, но в форме совокупности противостоящих официозному идеалу устремлений, привычек или убеждений²⁸. В любом случае эти меняющиеся под воздействием конкретного социального опыта представления оказывались одним из стимулов перестройки архаических стереотипов. Раньше всего их перестройка осуществлялась в общественной практике верхов.

Таким образом, сфера обыденного сознания средневековья, помимо неотрефлексированных всеобщих стереотипов в манере чувствовать и думать, включала и обширный слой более изменчивых и в достаточной мере осознанных социокультурных представлений, во многом специфичных для разных социальных групп.

²⁷ Подобными установками изобилует и обыденное сознание современных народов развивающихся стран, со свойственным им архаизмом некоторых социокультурных представлений (см. Идеологические процессы и массовое сознание в развивающихся странах Азии и Африки. М., 1984). Неотрефлексированные и иррациональные компоненты обнаруживаются и в обыденном сознании других народов (см.: Келле В. Э. и Ковальзон М. Я. *Формы общественного сознания*, с. 25; Ойзерман Т. И. *Указ. раб.*, с. 95; Шахзадеян М. А. *Указ. раб.*, с. 43, 63).

²⁸ Такие «конкурирующие» между собой представления могли касаться воззрений на труд, на состояние войны и мира, на идеальный общественный строй, на идеального рыцаря и т. д., см. Ю. Л. Бессмертный, А. Я. Гуревич. *Идеология, культура и социокультурные представления...*, с. 34—41.

В. П. Алексеев

О НЕКОТОРЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ ЕВРОПЫ

Исключительное внимание европейских археологов к изучению европейской территории предопределило характер находящихся в нашем распоряжении палеоантропологических материалов, особенно из могиль-